

Василий КИЛЯКОВ

Родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «День и ночь», «Гостиный Двор», «Литературная учеба», «Новый мир», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Юность», в газете «Литературная Россия» и других изданиях.

Лауреат всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992) и других. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019). Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2019). Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С. Есенина Союза писателей России (2022).

Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской области.

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ!

В одном из больших домов большого города жил холостяк Петр Петрович, человек незаметный, маленький, худой и чистенький. Дом, в котором он жил, стоял высоко, точно на подносе, этажей было много, а окон еще больше. И каждое хранило в себе по частице высокого неба, в точности повторяя рисунок облаков, их оттенки и переливы. В летние легкие вечера стекла пламенели от заката – зрелище необыкновенное. И всякий раз, когда Петр Петрович возвращался домой, он останавливался поодаль, закладывал под мышку свою трость стеклянного набора, неторопливо протирал очки платочком и любовался.

Снизу вверх казалось, что дом кренится, вот-вот рухнет, и от этого делалось жутко и весело...

– Вот так громада! Какая великолепная силища, а стоит себе – и молчок... А ведь когда-то и ухнет... о-о...

Петр Петрович, видимо, всем существом своим желал в своей sereneйкой жизни увидеть что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее. Но дом стоял себе как стоял. Глухо отражал он любой звук, был прочен, был нем и холоден, словно крепость, и Петр Петрович, вздыхая, отмерял тросточкой коротенькие шаги – от угла дома до крыльца их было девятнадцать, потом погружался в гулкую утробу подъезда, в его холодное пространство, и пропадал до утра. Подъезд поглощал его, как огромная разинутая пасть, и покорность, с которой Петр Петрович от-

давал ей себя, один вид этой покорности мог бы вогнать в тоску самого веселого от природы человека.

Петр Петрович шел черным узким коридором, непроглядным даже в погожие дни, и однажды поймал себя на мысли, что против воли пригибается, как-то весь сжимается от страха удариться обо что-то в темноте, и с горечью подумал: «Вот так-то и во всей моей жизни».

Было так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Утром шла мимо дома, рекой текла толпа, она подхватывала Петра Петровича, а вечером возвращала усталого, чуть потрепанного, слегка ошалелого и смешного. И опять он задирает голову, и опять разглядывал что-то на холодной каменной стене, ждал, пугался собственных мыслей и семенял домой. И если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что с высоты седьмого этажа на него с интересом смотрит некто Иван Дмитриевич, Петр Петрович очень удивился бы. Он и представить себе не мог, что им может кто-то интересоваться.

Спешить Петру Петровичу было некуда и не к кому, сам же он был настолько мал и близорук, а дом так громаден, что разглядеть в серых лужах окон хоть что-нибудь было очень трудно.

Как раз в то самое время, когда Петр Петрович появлялся во дворе, некто Иван Дмитриевич стряхивал с себя остатки послеобеденного сна, раскуривал толстую ароматную папиросу и от безделья глядел на улицу, глубокую, как ущелье. И всегда, лишь только догорала его толстая папироса, он замечал Петра Петровича. Трудно сказать, чем этот маленький человек привязывал его внимание. Ясно другое: Иван Дмитриевич видел его ежедневно и уже улыбался ему как старому знакомому. И Ивану Дмитриевичу казалось, что Петр Петрович тоже в ответ улыбается. Случалось даже, что Иван Дмитриевич махал рукой Петру Петровичу, а тот как раз в это время снимал шляпу, чтобы не сронить ее, задирая голову, и получалось, что они друг друга приветствуют.

Затем Иван Дмитриевич плотно ужинал, пил свой крепкий приторный кофе и опять курил. Это был рыхлый пожилой мужчина с генеральской осанкой и круглыми, развернутыми назад плечами. Голова Ивана Дмитриевича казалась плоской, срезанной на четверть и блестела отполированной плешью. Ровная, словно вытертая долгим ношением фуражки. Сам Иван Дмитриевич нисколько не стеснялся ее и шутил: «Что под шапкой, то мое!»

В прихожей висела гимнастерка старого образца, в углу стоял буквый кий. Сразу после ужина Иван Дмитриевич влезал в эту гимнастерку, брал тонкий-тонкий и несоразмерно тяжелый кий и спускался вниз под семь маршей лестницы, в бильярдную.

Бильярдная находилась в подвальном помещении того же дома. Иван Дмитриевич гонял там шары с вечера до полуночи, время от времени подумывая о том, как хорошо и все же нехорошо быть в отставке, в достатке и одному. Его штаны темно-зеленого цвета, жарко начищенные пуговицы на гимнастерке и строгий стоячий воротник – все это было в полном порядке, а неторопливость и внимательность, с какой он натирал мелом кий, покручивая его в руке, когда готовился к очередному удару, – все это открывало в нем человека очень непростого, бывшего, что называется, и на коне, и под конем в этой жизни. А жизнь шла. И Иван Дмитриевич с вечера до полуночи клал с размаху шары налево и направо по лузам. Не любил играть один, не любил сам писать мелочком на доске и за деньги не держался, то есть был не жадюга.

И не раз приходилось маркеру подниматься со стула и нехотя менять ему побитые шары на зеленом поле бильярда и в сетках луз, раздутых, как карманы подростка от ворованных яблок.

А Петр Петрович? Кто же знает, чем он занимался в это время... Известно лишь то, что с темноты до утра он не переступал порога своей квартирki по той простой причине, что ему некуда было пойти.

Но однажды в пятницу, 12 апреля (и до сих пор эта дата отмечена в календаре Петра Петровича кружочком от бордового карандаша), в жизни его случилась необычная, радостная и трагичная перемена...

Началось с того, что возвратился он не в пять, как обычно, а в семь часов вечера. И был так расстроен и разбит усталостью, что в спешке попал не в свой подъезд, но, сразу же заметив это, повернул было обратно, как вдруг услышал смех, а за ним и громкий говор и увидел косую, сломавшуюся на ступенях полосу света из-за полуоткрытых дверей. Полоса света была зеленой от неплотно задернутых штофных занавесок.

Раскат смеха повторился и был так некстати сейчас, так не сродни мыслям Петра Петровича, что он опешил. Потом торопливо и скоро спустился под лестничный марш, и, отворив дверь, сказал раздельно и в сердцах:

– Ничего веселого, молодые люди! Ровным счетом ничего веселого, да!

С той же чудаковатой поспешностью круто повернулся на каблуках и вышел... нет! И вот тут-то он и столкнулся грудью с Иваном Дмитриевичем. И то ли проход был так узок и темен, то ли Иван Дмитриевич так грузен и мясист, только Петр Петрович оказался вдруг вытесненным обратно в бильярдную, а узнав при свете лампы его лицо, толстый Иван Дмитриевич сказал запросто, как знакомому:

– Ба-ба-ба! А я вас знаю!

И само внезапное появление такого крупного, добротного, ладно скроенного человека, и известие, что его, Петра Петровича, может кто-то знать, так его огорошило, что он не нашелся что ответить.

В накуренной комнате били по шарам, а Петр Петрович и Иван Дмитриевич уже улыбались друг другу.

– Я, это, собственно, хотел... – сказал Петр Петрович, краснея и огибая сторонкой Ивана Дмитриевича. – Это... я...

– А это я! – ответил Иван Дмитриевич, протягивая свою очень мягкую ладонь, широкую и горячую.

– А это... вы... – проговорил вконец потерявшийся Петр Петрович.

– Повоюем? – спросил Иван Дмитриевич.

– Это как? – не понял Петр Петрович.

И тут же, при общем внимании, ему был вложен кий в руки, и он на потеху всей бильярдной братии ткнул им в шар впервые в жизни. Иван Дмитриевич одобрительно промычал, следя глазами за бегущим шаром, написал мелком виньетку на большом пальце левой руки и с тяжелой грацией взмахнул локтем. Его шар прокатился, как гром по ясному небу, и состязание началось. Так – помнил Петр Петрович – началось посвящение его в товарищество игроков.

Через полчаса – когда-то одинокий во всем мире, а теперь разгоряченный азартом и счастливейший из людей – Петр Петрович топтался вокруг бильярдного стола и, неловко, врозь расставляя локотки, бросал отрывисто и резко:

– Свой в левый угол! – и, приседая, бил в шар.

– Вот так! – повторял он, запирая дыхание, и замирал в полуприседе, пока шар не обегал все борта и не останавливался, крутясь, где-нибудь в уголке.

– А мы вот так! – отвечал ему Иван Дмитриевич и удачным карамболом, вздернув кверху плечо, вгонял с маху «чужого» в лузу.

– Как это вы его ловко! Ишь карман-то оттопырил, тяжелый, дявол, – говорил Петр Петрович, добывая шар в руки и устанавливая на полочку.

Шары Ивана Дмитриевича Петр Петрович пересчитывал с особенным удовольствием, двигал и носил осторожно, как свежие птичьи яйца. И все-таки Ивану Дмитриевичу было скучновато с вечно проигрывавшим Петром Петровичем, и поэтому он предпочитал играть вчетвером. И нужно было видеть, как тогда при каждом новом, влетевшем в лузу шаре Петр Петрович восхищенно вскидывал руки, с каким уважением глядел на Ивана Дмитриевича и с таким конфузом за себя, за свое жалкое существо, тер пальцем углы, о которые ударялись его шары. И ясно тогда становилось видно, что Петр Петрович болеет вовсе не за себя, а за Ивана Дмитриевича, хоть тот и без того очень ловко, с плеча впечатывал шары один за другим в лузы так, что за показ можно было деньги брать.

Тем же вечером Петр Петрович впервые за много лет отомкнул дверь своей квартиры с улыбкой на лице. Перед глазами все еще стоял добрейший Иван Дмитриевич и то и дело оживали, бегали веселые шары, крепко хлопая друг о друга и широко раскатываясь по зеленому стертому сукну.

«Очень, очень хороший человек, – думал Петр Петрович об Иване Дмитриевиче утром следующего дня, – серьезнейший, добрейший человек...»

И он опять снимал и протирал перед зеркалом платочком очки, и все лицо его казалось в это время еще милей, и проще, и радостней.

И они опять играли. Играли и на следующий день, и Петр Петрович уже с нетерпением ожидал, когда наконец в бильярдной покажется осянистая фигура Ивана Дмитриевича.

Петр Петрович приходил намного раньше, приходил он заранее с удивительной охотой поговорить. Он ждал и не мог дождаться Ивана Дмитриевича. Он хотел слышать его низкий тембровый голос, хотел видеть его крупные, круглые, развернутые плечи и ладно посаженную, плоскую от плечи, лобастую голову. Голову Иван Дмитриевич носил как-то особенно, гордо: чуть-чуть назад и сызбоку. Умело носил. И все это: и свое уважение к Ивану Дмитриевичу, неизвестно откуда и как взявшееся, и свою расположенность к бильярду – Петр Петрович чувствовал ясно. Случались теперь дни, когда часами напролет Петр Петрович гадал, что бы такое придумать, чтобы еще ближе расположить к себе Ивана Дмитриевича. В жизни его теперь появилась как бы тонкая струна, звонкая, поддерживающая его существование. Часами отыскивал он темы для будущих бесед. Находил и подхватывал интересные случаи и анекдоты, такие, чтобы они уже сами по себе подразумевали в нем, Петре Петровиче, ум и чувство юмора. Когда же темы для разговора не находилось, он тщательно осмысливал, что по логике вещей может увлечь Ивана Дмитриевича, и шел еще дальше: старался предугадать весь их разговор, диалог, сцены. И всякий день теперь до встречи Петр Петрович бывал радостен и счастливо взволнован. Он перестал останавливаться перед стеной своего дома и любоваться светом заката,

а проходил мимо поспешно, теперь он был занятый человек, теперь он вечно спешил: нужно было сделать то-то и то-то, скорей, как можно скорей. И румяная как яблочко продавщица от души смеялась, когда Петр Петрович путал персиковое варенье с майонезом «Провансаль».

А потом – бильярд.

И все-таки он продолжал казаться себе мелким, маленьким и неуместным, даже смешным в сравнении с крупным и величественным Иваном Дмитриевичем.

– А погодка на дворе чудесная, по заказу! – говорил Петр Петрович, потирая руки и мелко, ненатурально смеясь. И ему было стыдно, что он так лживо смеется и потирает руки. Но Иван Дмитриевич, казалось, не замечал этого.

– Не подморозило бы опять, – отвечал он сдержанным басом.

– Ой, а сколько же на улице-то?

– Двадцать два – для интересу! Ну, не начать ли нам?

И опять, как вчера, как много дней назад, крепко хлопали друг о друга шары и разбегались в разные стороны.

Первые дни было заметно, что Ивану Дмитриевичу скучновато, и тогда Петр Петрович из кожи вон лез. Он намеренно спешил, натирая мелом кий и себе, и Ивану Дмитриевичу, исполнял мелкие обязанности шута и маркера, пыжился, прицеливаясь, потешно выдувал губы и пучил глаза. И по-прежнему часто и мелко смеялся.

Что заставляло его пасть до постыдного шутовства? Он не задумывался. Да и в этом ли дело... Просто и ему было приятно делать то, что нравилось Ивану Дмитриевичу.

– Быстро же ты делаешь успехи! – сказал ему как-то Иван Дмитриевич.

– Стараю-ся! – и это старомодное «ся» проскрипело как заискивание, и опять стало стыдно.

– А Петр Петрович-то у нас, – сказал вслух Иван Дмитриевич, принимая от него пальто, – от двух бортов бьет в середину так, что за показ деньги брать можно!

– Ну?! – притворно удивился кто-то, мельком взглядывая на Петра Петровича. – Полковник, вы куда?

– В никуда.

– Как это?

– А так: до-мой.

– И я домой, Иван Дмитриевич. Подождите, Иван Дмитриевич...

...Ночь Петр Петрович спал дурно: то ему казалось неловко оттого, что он не сказал, не успел сказать Ивану Дмитриевичу что-то очень важное, то вдруг подхватывало и согревало теплое веселье от похвалы и в ушах стоял чей-то бархатный баритон: «Ну-у». Затем настаивал новый день, и вновь Петр Петрович тщательно отыскивал темы и фразы и мило, по-детски радовался каждой, как ему казалось, удачной находке. «А он бы мне ответил вот так... или нет, скорее вот как...» – думал он и сам бы не мог сказать, откуда бралось то веселое чувство, которое окатывало его с ног до головы. Это было что-то похожее на влюбленность, да он и не хотел вдумываться в это чувство, боясь погубить его размышлениями.

Однажды Петр Петрович, с крупным портфелем под мышкой, в белом халате, время от времени выбивавшемся из-под пальто, с какой-то излишне сосредоточенной серьезностью вошел в один из подъездов своего дома. Поднялся на седьмой этаж и трижды позвонил. Пахло от Петра Петровича коллодием.

– Врач! – сказал он, вытирая ноги и так наклоняя голову, словно собирался бодаться. – Врач. Кто болен? Где больной? – И сунул в протянутые к нему руки свое коверкотовое пальто.

– Врач? Так-так-так... – приветствовал его знакомый голос. Петр Петрович поднял голову. Улыбаясь, держа в руках пальто, перед ним стоял Иван Дмитриевич.

– Вот! – сказал Петр Петрович. – Это вы, Иван Дмитриевич?

– Я, Петр Петрович, как видите, живой, здоровый и даже не поцарапанный, – он зацепил петлю пальто за крючок. – Вот так-то, будьте любезны.

– Да?

– Да!

– Однако не очень и здоровы, как я понимаю? – Петр Петрович снова протер платочком очки. И оба засмеялись: ха-ха-ха, хо-хо-хо!

Битый час Петр Петрович осматривал крупное тело своего дородного друга. Забирал в ладонь мягкую горячую кожу его живота, мял, тискал, вкладывал пальцы в ребра, утонувшие в складках жира. Постукивал по спине. Считая пульс, он неодобрительно поморщился и покрутил головой. Окидывая взглядом всю эту гору мяса, сказал:

– Знаете, Иван Дмитриевич, миленочек, ведь у вас нейроdistония и тахикардия страшная.

– Вот?! – удивился Иван Дмитриевич. – Что же, мне жить-то – два понедельника?

И, подумав, добавил:

– Знаете что, оставайтесь-ка у меня!

– Ну?!

– Что «ну»! Ведь я же могу умереть, вы же сами сказали.

– Я так не говорил...

– Нет, вы сказали. Сейчас вы останетесь и будьте любезны – чай пить.

– А что, и останусь. Вы ведь у меня сегодня последний.

– Да вы и совсем оставайтесь.

– И совсем останусь...

И Петр Петрович поселился у Ивана Дмитриевича. Утром они вместе завтракали по-холостячки: яишенкой или холодцом, но очень умеренно. Потом до пота и красноты лиц напивались чаю с кренделями. И незаметно Петр Петрович перенял у Ивана Дмитриевича словосочетание «будьте любезны». Он говорил так: «Придете, и вот вам чай, будьте любезны. Нет, вдвоем не в пример жить кучерявее» или: «А вот и я, будьте любезны», «Будьте любезны, Иван Дмитриевич!».

Иван Дмитриевич страдал грудной жабой. Болел он давно и неизлечимо, и Петр Петрович, принявший приглашение поселиться у него, принялся ястребом следить за здоровьем больного. Он напускал на себя неприступно-строгое выражение, разбавлял Ивану Дмитриевичу чай, горький, как пиво, и, вконец осмелев, принялся прятать папиросы и спички, чтобы тот не курил. Но Иван Дмитриевич всякий раз находил их и снова жарко раскуривал толстую папиросу, наполняя комнаты душистым дымом папирос «Аида», дым стоял и волновался на кухне от малейшего движения. Этот душистый дым везде преследовал Петра Петровича, и он, к своему тайному удовольствию, пропах им насквозь. Запах ароматного табака не давал ни на минуту забыть о том, что у него есть друг, а значит, и семья, потому что друг был по-настоящему добрый, надежный и большой. Он помнил об этом на улице, в аптеке

и дома, в парикмахерской, в бане – везде. Мирно и легко текли дни, и не было им счета.

Здоровье Ивана Дмитриевича шло на поправку.

Только раз Петр Петрович пришел немного взволнованный и сказал с виноватой улыбкой, усаживаясь за обеденный стол:

– Знаете, а меня ведь сегодня на пенсию выгнали!

– Ну! Что вы говорите! – удивился Иван Дмитриевич.

– Да, на пенсию. Теперь я свободен. Свободен, как птица в полете.

Совсем, совсем... А так... жаль. А у вас есть семья?

– Есть. Дочь. То ли в Джанкое, то ли в Симферополе, а вернее – то там, то там. И писем не шлет. Вот и заводи их, детей-то...

– А я, знаете ли, всегда как-то был одинок, – тихо, точно сам себе, говорил Петр Петрович. – Всю жизнь. Так вышло. И даже не замечал, не тяготился этим своим одиночеством, пока вот вас не встретил.

За сильными очками Петра Петровича не видно было глаз, и оттого он казался Ивану Дмитриевичу безликим, вроде тех трогательных слабых людишек, каких он так часто встречал за свою жизнь.

– Да-да. Знаю это. Это что-то вроде веры в Бога. Потому-то, может быть, среди одиноких чаще всего встречаются верующие...

– Именно. И еще. Больше всего это присуще, извините, женщинам. Но они ищут опоры в замужестве, а это другое... Вот вы спрашиваете, почему я не был женат. Именно по этой причине: какая, позвольте спросить, из меня опора? Да мне ее хоть самому подавай, да где взять-то?

– Ищут поддержки.

– Да уж, поддержки. А женись я? Разве мог бы я стать поддержкой? Нет-нет...

И опять летели дни, и теперь Петр Петрович поднимался в свою квартиру только лишь для того, чтобы поменять что-нибудь из одежды. Так он поменял демисезонное пальто на пиджак, потому что наступило лето, и, прихватив кое-какие книги, спешил скорее, скорее выйти вон. Эти вынужденные возвращения к себе, в свой гардероб, превратились для него в пытку. Слишком много дней, пустых и желтых, провел он в этих четырех стенах и теперь с неподдельной радостью спускался он и спешил, спешил к Ивану Дмитриевичу, подальше от своего затхлого жилья, пропахшего чем-то стоялым, душным, сыростью начавших уже плесневеть обоев и падающей штукатурки. Он спешил и шептал на ходу в такт шагам:

– Покой, покои, покойник... Покой, покой, покойник...

Он бежал из своих «покоев» к Ивану Дмитриевичу, торопился к его ароматному табачному дыму, к его грубому говору, шумной одышке и потом из передней с удовольствием слушал, притаясь, как Иван Дмитриевич опять и опять говорил сам о себе в третьем лице: «Иди, генерал!», или «Ешь, генерал!», или «Вот включу свет (и включал), занавешу шторы (и занавешивал) и лягу спать...»

И так во всем.

После таких вынужденных возвращений в свою комнатуху Петр Петрович особенно остро и радостно сознавал, что он живет, и ему хотелось жить. Да-да, жить, вот так просто и радостно, долго, тысячи лет. Со времени ухода на пенсию он почти не расставался с Иваном Дмитриевичем.

В одно из воскресений, в полдень, Петр Петрович по привычке отпер дверь Ивана Дмитриевича своим ключом, вошел в квартиру, а Ивана Дмитриевича не было. Не было Ивана Дмитриевича и к вечеру, и к

следующей ночи. И на следующий день тоже не было. Удивление Петра Петровича сменилось испугом и, наконец, все возрастающей тоской.

Протолкавшись сутки в толчее больниц, вокзалов и милиций, он оглох от звонков, треска, скрежета и движения толпы. Петр Петрович вконец оступел, очумел и то и дело принимался дрожать, точно от мороза. Дома он, не раздеваясь, опустился в кресло и затих, задрожал плечами, заплакал навзрыд. Он плакал долго, безутешно, горько и сладостно, сотрясаясь плечами, тряся сухой породистой головой и разводя руками да так и уснул весь в слезах. А очнулся внезапно оттого, что весело и чудесно затрещал вдруг в прихожей звонок и кто-то знакомо крикнул. Сердце Петра Петровича встрепенулось, прыгнуло, и он перевел взгляд с окна на дверь. Звонок повторился, когда он уже с бьющимся сердцем и дрожащими руками, улыбаясь сквозь слезы, распахивал дверь. Против него стоял почтальон, весь черный, как цыган или трубочист, в черном же костюме, с черными волосами и черными, врозь поставленными, словно с чужого лица, глазами. Он молча протянул телеграмму и дал Петру Петровичу расписаться в потрепанной книжечке, которую Петр Петрович так же молча подмахнул и впелился взглядом в телеграмму... Трепетной рукой сорвал он бумажную ленточку и, задержав дыхание, переводил глаза со строчки на строчку: «Срочно выезжаю дочери». Адрес указывал: Мелитополь, проездом.

Всё...

Слова, которые он прочел, были будто сказаны голосом Ивана Дмитриевича.

Комната еще хранила тот уютный беспорядок, который всюду оставлял после себя Иван Дмитриевич. Там и сям лежали его недочитанные газеты, вещи как будто хранили запах его ароматного табака, прихожая – его бас. Точно он гудел еще, тот грудной тембр: «Будьте любезны...» А сам он?.. Где он был сам? Отъезжал от какого-то чужого Симферополя, белокаменного, со шпилем башни вокзала, далекого, жаркого, ненужного.

Петр Петрович ничего не хотел знать, он знал только то, что он остался один, совсем один. Даже больше, чем один, потому что когда не было никого, то совсем не хотелось верить в то, что кто-то и где-то живет полной грудью, весело и счастливо. «А как же одиноким-то жить? А как же?..»

Он встал и стал быстро-быстро писать письмо. Рука дрожала и торопилась, словно была не своя, а чужая. Петр Петрович несколько раз рвал то, что писал, и пихал в разные карманы пиджака и брюк. И когда письмо наконец было готово, Петр Петрович прочитал его вполслуха и не сдержал грустной улыбки: письмо получилось такое, какое нужно, строгое, ласковое и убедительное. Все в нем сводилось к одному: «Возвращайся». Петр Петрович слабо улыбнулся, когда представил, с каким удивлением будет читать это письмо Иван Дмитриевич, как округлятся его глаза, затем разойдутся в улыбке щеки, растянется рот и, наконец, он погладит себя по плечи, как он делал всегда, когда волновался.

До самого почтамта Петр Петрович не спускал с лица улыбки. Он почти не сомневался теперь, что Иван Дмитриевич вернется, непременно вернется, уж теперь-то наверняка.

– С уведомлением, – сказал Петр Петрович, протягивая конверт, и только тут вспомнил, что не знает адреса.

«Мелитополь, – стучало в голове, – Мелитополь!» Струна, поддерживавшая его существование, лопнула.

В одну минуту он перестал видеть и слышать. Он видел только широкий пустой зал почтамта, насквозь пропитанный теплым сквознячком калориферов.

Два дня он не спал, не ел. На третий его видели в бильярдной с трясущимися руками и сиротским лицом. Он сидел в уголке и смотрел из-под сильных очков на входную дверь, смотрел неотрывно. Чудилось ему, что вот-вот войдет Иван Дмитриевич, гордо неся впереди себя брюшко, и скажет громко: «Во, задержался... А в Мелитополе-то тридцать два – для интересу!»

Хлопнула дверь, Петр Петрович вздрогнул. Вошел незнакомый, и Петр Петрович ясно понял вдруг, что не помнит отчетливо Ивана Дмитриевича и не может представить теперь его таким, каким видел много-много раз. Он помнил голос, помнил его шинель и больше ничего. И когда пытался представить себе Ивана Дмитриевича, то получалось, что разговаривал он с его широкой спиной, – и, чтобы вернуть в память Ивана Дмитриевича, Петр Петрович вернулся в его квартиру, влез в его шинель и прошелся в ней туда-сюда, время от времени заглядывая в зеркало, но так как он при этом очень волновался, то так и не воскресил Ивана Дмитриевича в памяти. Он повторял его жесты, походку, движения рук и голос:

– Ходи, генерал! Хм-м, ма-ма-м... Ешь, генерал. Гм-хрр, смотри, генерал... Нет, не то, совсем не то! Ходи, генерал, будьте любезны!

Захотелось покашлять, и он покашлял – и вздрогнул, так сухо и непривычно отозвался его кашель в пустых комнатах... Потом снял очки и долго-долго протирал их платочком, то очки, то глаза.

...В городе Мелитополе появился сумасшедший. Это был будто бы худенький, слабый человек, старый и седенький, с высоко подрезанными височками. И выглядел он нелепо: маленький, в широченной, с чужого плеча, шинели, с тремя крупными звездами на погонах. Пуговицы этой шинели будто бы взялись от времени и влаги зеленой ярью.

Но больше всего удивляло то, что в руках он носил... кий. Обычный кий, но носил он его осторожно – как носят заряженное ружье. Почему кий? Зачем кий, а не какой-нибудь посох или трость? Этого никто не знал.

Человек этот останавливал прохожих и, извиняясь, приподнимал шляпу. Затем доставал из-за пазухи сложенный вчетверо лист телеграммы и, водя по ней пальцем, спрашивал, не видел ли кто некоего Ивана Дмитриевича Кошепьяна...

– Такой плечистый, видный мужчина. Такой... Его трудно не заметить, и лицо у него такое, такое... И одышка еще вот так: хх-о... – и маленький смешной человек показывал, как дышит воображаемый Иван Дмитриевич...

Прохожие спешили от него, не оглядываясь.

Однако он все же оказался в психиатрической клинике и был тщательно и придирчиво выслушан и выпущен со строгим наказом одеться прилично и вести себя с достоинством, как подобает нормальному человеку, а тем более в прошлом – врачу.

– Иди, иди, – сказала ему кастелянша, – иди, Кошепьян! – и проводила его до дверей. – Ишь, хрущ какой, а еще седой, чучело! – И поспешно, с оглядкой скрылась за простенком коридора.

В этот день ярко светило по-осеннему холодное солнце и было зябко. То ли от этой текущей мимо людской толпы, то ли от высокого негреющего солнца, но маленький седенький человек в шинели поежился.

Трещали трамваи. По-прежнему подходили поезда к вокзалу, сменяли друг друга автобусы на остановках, выплескивая на площадь и тротуары толпы народа. И шел, шел этот народ куда-то в молчаливой спешке, спешке на месте. Старухи торговали помидорами, грецкими орехами. Хлопали и переходили из рук в руки двери магазинов. Толпа шла молчаливо и нестройно, как разбитая армия. И эта страшная свобода среди множества безликих существ, когда можно бормотать что хочешь, показывать язык, декламировать стихи, и никто не услышит, не придаст этому значения; можно строить рожи, прыгать на одной ноге или топтать ногами, – эта странная и страшная свобода уже не поражала Петра Петровича. Это самое изумительное из одиночеств – одиночество в толпе. Кажется, что толпа не идет, а плывет над землей, подталкивает плечами, раскрывает, расталкивает перед тобой проспекты, заставляет видеть то, что читает она: те же проспекты, аншлаги, вывески и объявления. Читать те же газеты, что и она. Толпа берёт от тебя часть твоей жизни, и топит ее в общем котле, заставляет терпеть и спокойно мириться со всем тем, что тебе открывают и показывают. И это ощущение одинокой общности со всеми вдруг совершенно излечило маленького седенького человечка в роговых очках. И толпа великодушно приняла его, медленно, шаг за шагом спустила с крыльца, наступая на волочащуюся по ступеням шинель... Толпа скрыла и потопила его, и никто не замечал странного вида этого маленького человека, ни букового кия в его руках, ни измученного, бледного, растерянного лица. Лишь психиатр, тот самый врач, что четыре часа беседовал с ним, глядел теперь ему вслед из окна своего кабинета. Но и его внимание отвлекла вялая осенняя муха, долго выбиравшая, куда бы ей сесть на подоконнике. Психиатр без труда раздавил ее пальцем, а когда поднял голову, то уже не смог различить своего недавнего пациента в десятках других людей, снующих взад и вперед.

Голова Петра Петровича скрылась за другими головами, а плечи широкой шинели потонули за другими плечами.

Вот уже и совсем его не стало видно. Теперь уже навсегда.